

*История  
одного путешествия*

Володя уезжал из Константинополя один, никем не провожаемый, без слез, без объятий, даже без рукопожатия. Дул ветер с дождем, было довольно холодно, и он с удовольствием спустился в каюту. Он приехал на пароход почти в последнюю минуту, и потому едва он успел лечь и закрыть глаза, как пароход двинулся. Надо все же посмотреть в последний раз на Константинополь. Он поднялся на палубу. Было почти темно, скользко и мокро; сквозь дождь уходили неверные очертания зданий, ветер бросал брызги воды в лицо; шум порта с криками турок и гудками катеров, влажно раздававшимися сквозь густеющую темноту, стал стихать и удаляться. Володя постоял некоторое время и опять спустился в каюту. «Ну, поехали», — вслух сказал он себе. Он лег и закрыл глаза, но не засыпал, лишь начал дремать; из далекой каюты слышалась музыка. Володя силился разобрать мотив и не мог, и, как всегда в таких случаях, ему казалось, что это нечто знакомое. Потом музыка умолкла, и он задумался, глядя на толстое стекло иллюминатора, пересеченное неправильными линиями дождя.

Затем начался обычный для путешествия ход его мыслей — всегда один и тот же. Всякий раз, когда ему приходилось уезжать, когда он оказывался либо

в поезде, либо на пароходе и начинал ощущать свое полное и глубокое одиночество, — но это было не грустное, а скорее спокойное и немного презрительное чувство, — он думал, что вот теперь, именно теперь, когда он отделен, в сущности, от всего мира и не должен в эти минуты ни лгать, ни притворяться перед собой или перед другими, ни создавать иллюзии чувств, которые были необходимо требуемы особенной условностью человеческих отношений — и которых он на самом деле не ощущал или ощущал их другими, нежели те, за которые он их выдавал, невольно обманывая и себя, и других, — что в это время он яснее представлял себе все причины и побуждения, руководившие его жизнью, так же как подлинный смысл тех или иных отношений с людьми. Пока он находился в центре событий, составляющих его существование, пока он сам играл в них какую-то роль, он был лишен возможности правильно понимать их. И только тогда, когда он оставался — так, как теперь, — совсем один, ему начинало казаться, что все ясно и понятно, как простой логический ход рассуждений. И особенно хотелось остановить и записать, покуда это не исчезло, множество незначительных вещей, воспоминаний, запахов, впечатлений, вызванных из глубокого небытия этим мерным движением парохода и глуховатым звуком волн, бежавших вдоль его крутого борта. Бывали минуты в его жизни, когда он, в остальное время равнодушный ко всему, вдруг испытывал острое сочувствие к людям и вещам, иногда почти вовсе ему неизвестным, иногда чрезвычайно далеким от него — сквозь годы, чужой язык и чуждую национальность; и судьба какого-нибудь голландца, француза или англичанина, жившего много лет тому назад, становилась

ему необычайно близка, как жизнь когда-то давным-давно потерянного им брата. Он думал иногда о судьбе нескольких женщин, и с самого давнего времени, чуть ли не с того, когда он впервые прочел об этом, некоторые женские образы неизменно сопровождали его; они меняли свою внешность, предстая перед ним во всем своем немислимом богатстве превращений; и в них оставалось нечто то же самое, что было раньше и всегда, может быть, воспоминание о первом толчке, о начале того движения, которое влачило все время за собой его отстающую, не поспевающую за этим великолепием, слишком бедную и слишком скучную, как казалось Володе, жизнь. Ему казалось, что он принадлежит к людям, которым судьба дала что-то лишнее и тяжелое, что их давит все время и стесняет их движения и еще заставляет считать, что настоящее и то, в чем они живут, это все только случайность и недоразумение; и всю жизнь они бессознательно чего-то ждут, и, что бы ни случилось, это окажется не тем, — и им суждено умереть с этим ожиданием. Они могут быть скептиками, не верить ничему, не хранить никаких иллюзий, и все же есть нечто, мечтательное и далекое, что, несмотря на свою хрупкость, весь свой явный, безумный мираж, сильнее их и их отрицания. Володя вспоминал одну женщину, немку, нервную и истерическую; она была учительницей немецкого языка в гимназии и ставила ему дурные отметки, к которым он относился совершенно спокойно. «Warum wollen Sie nicht arbeiten?»<sup>1</sup> — злобно спрашивала она его. Он пожимал плечами и усаживался на свое место; было особенно ленивое, южное лето, сонный

---

<sup>1</sup> Почему вы не хотите работать? (нем.)

воздух был неподвижен; было так тихо в гимназическом саду, где Володя и его товарищи ложились на выгоревшей траве, подстелив одеяло, где они ели дыни и арбузы и говорили о необходимом существовании какого-то одного, абсолютного и неизменного начала, которым объяснено раз и навсегда все, что живет, и все, что может появиться. Им всем было тогда меньше чем по двадцать лет; и они были склонны искать в этом гигантском клубке, чудовищно сплетенном из запахов, разочарований, надежд и неисчислимого количества разнообразнейшей мерзости, — каким Володя потом представлял себе всякую человеческую жизнь, — искать в этом все того же, торжественного, как гимн, необычайно гармонического начала. И вот, однажды днем, встретив Володю в длиннейшем коридоре, учительница немецкого языка вдруг сказала ему: — Вы можете прийти ко мне сегодня после обеда? — В котором часу? — Она назначила ему время, и он явился, недоумевая, зачем она его вызвала. У нее была довольно большая комната, с креслами, диваном, гравюрами; и одну из стен занимал большой кусок черного прекрасного бархата, на котором тонкими линиями тускло сверкающих тонов был нарисован, как показалось сначала Володе, величественный замок над рекой; и только взглядевшись как следует, он увидел, что это был не рисунок, а вышивка, сделанная с необычайным, почти японским искусством. — Это вы вышивали? — Я, — сказала она, вздрагивая: она вообще все время вздрагивала. Она подвинула к нему блюдо пирожных. — Спасибо, я не ем пирожных, — сказал он. Она вспыхнула, сказала: — Ах, извините, я не знала, — и, раньше чем он успел что-либо сказать, выбежала из комнаты и вернулась с коробкой папирос, кото-

рую положила перед ним. Он поблагодарил. — Вы знаете, зачем я вас пригласила? — Откровенно говоря, нет. — Я хочу с вами поговорить. — Если мои реплики могут вас в какой-нибудь степени заинтересовать... — Она была очень образованной женщиной, прекрасно говорила по-русски, по-французски, по-турецки, по-английски, не считая немецкого и латышского, — она была рижанкой. — То, что я вам скажу, вам покажется, может быть, нелепым и странным. Вы видите эту вышивку, о которой вы меня спрашивали? Я рисовала ее из головы, просто так; сначала нарисовала, потом вышила. И вот, вы знаете, я однажды совершала прогулку по Рейну, и когда мы подъезжали к одному замку, у меня сильно забилось сердце и я сказала моим спутникам, что знаю точно расположение комнат и все входы и боковые двери. Я никогда до того не бывала в этой части Германии. И чтобы проверить это, мы сошли с лодки и попросили разрешения осмотреть замок; я шла с завязанными глазами и говорила, что где находится, и все было точно, за исключением одной двери, которую замуровали около пятидесяти лет тому назад. Это все казалось невероятным моим спутникам; и тогда я показала им эти вышивки, которые я сделала, не зная даже о существовании такого замка.

Потом она рассказала Володе множество других вещей такого же порядка; и его особенно поразило то, что она сказала, что помнит, как была маркитанткой в войсках крестоносцев, в походе Фридриха Барбароссы, и что несколько лет тому назад, в Константинополе, она встретила одного англичанина, которого помнила именно по Крестовому походу, — но что он ее не узнал. Она потом уехала из того города, где учился Володя, была в Риге, в Москве, путе-

шествовала по Европе; и Володя был уверен, что всюду ее мучили и преследовали эти неправильные, чужие воспоминания о разных эпохах, в которых она видела себя, точно в далеком и темном зеркале, себя, и это свое такое отдаленное лицо, эту бледную кожу, белокурые волосы и синие, страшные глаза; и то, что об этом по-настоящему знала только она одна, — всем другим это могло только казаться нелепым, — это фантастическое волнение, этот постоянный мираж заполняли всю ее жизнь и делали все окружающее бессмысленным, несвоевременным и скучным. После этого единственного разговора с ней Володя невольно изменил к ней равнодушно-насмешливое отношение. Он не понял, однако, — ни тогда, ни позже, — почему для рассказа о Крестовых походах и замке над Рейном она выбрала его, самого ленивого из своих учеников, — любившего больше всего спать и бесцельно гулять и ничего не делать. Никогда потом эта женщина ничем не проявила к нему своего внимания, не разговаривала с ним, не вызывала его и по-прежнему ставила дурные отметки — и только раз вскользь сказала: «Вы могли бы делать гораздо больше, чем вы делаете», — но это было так туманно и так механически сказано, что явно не имело никакого значения. Но Володя был убежден, что и потом, в дальнейшем, ей все виднелась вечером в пустынном воздухе каждой страны или каждого города, где она находилась, — будь то Константинополь, Берлин, Рига или Москва, — смутно белеющая вдали башня какого-то давно затерявшегося во времени здания, может быть одной из крепостей, к которой был направлен тяжелый карьер взмыленных, свирепых лошадей крестоносцев. «Я была маркитанткой в обозе Фридриха Барбароссы». —

Она так просто говорила эту фразу в тысяча девятьсот двадцать втором году, когда прошли почти бесчисленные дни, почти непредставляемые годы после того, как все покрылось забвением, — чтобы теперь опять призрачно воскреснуть и прогреметь в ее невероятной фантазии. В жизни, которую она вела и которая состояла из преподавания немецкого языка, она была забывчива, растеряна и несчастна, как все фантазеры и мечтатели; она нервничала оттого, что ее объяснения не сразу понимались, что по-немецки можно было говорить с таким ужасным славянским акцентом. Иногда с ней случались истерики в классе; и тогда она особенным движением мизинца поднимала свою правую, как-то заскакивавшую бровь, и ее глаз открывался во всю ширину — синий, громадный и совершенно пустой в те минуты.

И теперь, вспоминая это нелепое и призрачное существование, Володя подумал, что оно в тысячу раз лучше других, таких счастливых жизней, которые ему приходилось наблюдать. Он сам так часто терял все, что ему, казалось, принадлежало, так много раз замечал, что вот живешь среди известных людей, связанный прочными отношениями, неподвижный, как раз навсегда задуманный и осуществленный чьей-то волей человек, которого ни с кем нельзя смешать, — живешь и через долгое время вдруг начинаешь понимать, что все это родное и как будто неотделимое от тебя с каждым днем становится все дальше, делается все более чуждо — до тех пор, пока в одну неожиданную минуту, — вот точно проснувшись однажды утром, — не поймешь с безнадежной окончательностью, что и ты чужд всему, в чем живешь, что ты уже не узнаешь ни этих людей, ни этих отношений, ни даже домов и улиц родного города, —

и тогда начинается иное странствие и снова длится много времени, пока не наступит следующая минута этого тускнеющего, точно слепнущего взгляда, после которого опять одиноко, гулко и тяжело. Володя так часто терял все это — и не мог к этому привыкнуть, — что существование одной, сквозь всю жизнь проходящей мысли казалось ему недостижимым счастьем; и он никогда его не знал. А счастливых людей было много, больше даже, чем несчастных. Была, например, эта дама, французская журналистка, жившая в Константинополе; она разговаривала с Володей на самые возвышенные темы, относясь ко всему с неподдельной печалью, все казалось ей сумрачным и грустным. Володя пытался узнать, что ее, сравнительно молодую женщину — ей было двадцать девять лет — погрузило в такой неожиданный пессимизм; тем более, думал Володя, что она обладала редким аппетитом, в чем он убедился, бывая иногда ее спутником в ресторане. Она была очень проницательна и умна, особенно в том, что касалось отношений между мужчиной и женщиной, — в остальном она чувствовала себя несколько менее уверенно, как человек, попавший в незнакомую квартиру. Она сообщила ему наконец, что разошлась со своим мужем, которого безумно любит, — она так и сказала: *que j'aime follement*; и всякий раз, когда она о нем говорила, ее обычный, несколько суховатый и быстрый язык вдруг делался медленным и приобретал новые выражения какого-то особенного и печального в своей шаблонности великолепия. Когда он однажды не удержался и заметил ей это, она подняла на него глаза, которые ничего перед собой не видели, и сказала: я боюсь, что вы меня не понимаете, может быть, вы слишком молоды. Потом он с ней

не встречался несколько недель; а затем встретил ее как-то вечером, совершенно случайно. Она была непохожа на себя, необычайно весела и оживлена; и он сказал ей: — Я очень рад за вас, у вас такой вид, точно вы получили наследство. — В тысячу раз лучше, — ответила она. — J'ai retrouvé mon mari<sup>1</sup>. Она была искренна и счастлива. — Я вас познакомлю, я скажу, что вы были моим лучшим другом. — Зачем так преувеличивать? Я не мог бы претендовать... — Si, si<sup>2</sup>, — перебила она, и ей, по-видимому, стало казаться, что Володя действительно был ее лучшим другом и всегда сочувствовал ее несчастью, — хотя он явно был к нему равнодушен; и он помнил даже, что вопрос, о котором она как-то заговорила с неожиданным простодушием, — именно вопрос о ее физических страданиях от разлуки с мужем, — показался ему нелепым и неприличным в устах женщины, несмотря на то что это и было, судя по всему, главным в тогдашний период ее жизни. Потом она представила Володю своему мужу, и это было неловко и немного грустно. Это был маленький, лысеющий человек, чрезвычайно самоуверенный, обидчивый и болезненно нетерпимый; и вдобавок он говорил с таким ужасным овернским акцентом, что Володя вначале подумал, что это просто шутливая манера, несколько затянувшаяся; но потом оказалось, что он действительно говорил так и иначе говорить не мог. Володе стало так неприятно, что даже кофе ему показался невкусным, и он быстро ушел, отговорившись необходимостью идти на свидание, которого не было. И вместе с тем, несомненно, эта женщина была те-

---

<sup>1</sup> Я вновь нашла своего мужа (*фр.*).

<sup>2</sup> Но это так (*фр.*).

перь счастлива; и он с недоумением спрашивал себя, неужели можно быть таким нетребовательным, неужели нужно так мало для того, чтобы чувствовать себя счастливым? «Возможно, что я ошибаюсь», — говорил он себе. И он думал, что, наверное, она создала себе какой-то прекрасный миф, к которому не подходит никто, и только у этого человека есть нечто поразительно напоминающее ей ее воображаемого героя, — как в пейзаже скучной и скупой страны вдруг встречается только одна подробность, свойственная воображаемой природе, которую человек любит так давно и постоянно, и это сразу делает близким и родным такой на первый взгляд чуждый и печальный вид. Но сколько он ни искал в этом человеке чего-нибудь, достойного внимания, он ничего не нашел; и по-видимому, чтобы понять ее несложное и нетребовательное счастье, нужно было обладать ее глазами или ее телом. Володя думал о других людях, которые были по-настоящему счастливы, получив небольшое повышение по службе; о рабочих, совершенно довольных своей судьбой, хотя они проводили десять часов ежедневно в дымных и гремящих мастерских металлургических заводов; эти люди были лишены фантазии, не искали ничего другого, их представление никогда не доходило до возможности увидеть какой-то иной мир, они были счастливы особенным и неподвижным счастьем — с дурными запахами, подвалами, в которых они жили, плохой пищей, которой они питались. И еще, думал Володя, и может быть, самое важное, что характерно и для этой французской журналистки, и для этих несчастных людей, этого *chair à canons*<sup>1</sup>, — это что

---

<sup>1</sup> Пушечное мясо (*фр.*).

они никогда не останавливаются. Они начинают жить, — и тотчас же тысячи забот, задач, требующих немедленного разрешения, личных дел, диктуемых теми или иными другими чувствами — любовью, вернее, тем, что эти люди называют таким словом, мезью, голодом, — занимают весь их досуг, заставляют их совершать множество поступков, ошибок и преступлений, вся чудовищная нелепость и глупость которых может быть только объяснена совершенным отсутствием обдумывания или понимания, — и потом идут нищета, или счастье, или катастрофа, или убийство. И всякий раз, когда какой-нибудь из этих людей в силу вынужденного досуга — на каторге, в последние годы своей жизни, на своей постели незадолго до смерти или где-нибудь еще — впервые остановится и все перед ним станет идти тише, прозрачнее и медленней, — он вдруг начинает понимать всю непоправимую бессмысленность своей жизни. Но они не останавливаются, и даже в последние их часы они все еще по инерции продолжают мечтать или жалеть — мелко и скучно — и умирают, так и не поняв, хотя бы на секунду, как все это началось бесконечно давно, как проходила жизнь и как теперь — вот все кончается и уже больше никогда ничего не будет, — как у этого константинопольского старика, который поразил Володю тем, что оставлял в мокром асфальте тротуара — это было после дождя — следы босых ног, пять пальцев и пятки, хотя был в ботинках. Володя даже обогнал его и поглядел внимательно на его ноги; старик был обут в лакированные туфли, правда давно потерявшие свой блеск, но все же сохранившие форму обуви; затем Володя отстал и снова посмотрел на следы, — опять отпечаток босой ноги на

тротуаре. И он понял, что от этих лакированных туфель остался только верх, а подошвы не было совершенно. Позже Володя познакомился со стариком и узнал все, что тот мог о себе рассказать. Он учился на «медные деньги», был сыном бедных родителей, давал уроки, голодал, жил в отвратительных мебелированных комнатах и мечтал о богатстве и комфорте. Ему повезло — или не повезло, — он начал заниматься коммерцией и со сказочной быстротой разбогател. И потом, когда все, о чем он мечтал, исполнилось, он уже не мог остановиться: все его время было занято финансовыми делами, биржевыми спекуляциями, покупками, продажами, деловыми путешествиями; мельком и случайно было несколько женщин, которых он даже плохо помнил, — кажется, ее звали Зина... — если не ошибаюсь, ее звали Катя... Это было *chemin faisant*<sup>1</sup> — не то в гостинице «Метрополь» в Харькове, не то в московской «Астории», потом была гречанка Марика на пароходе, — природа, облака, знаете, море, пролив, — он не чувствовал этого, как следует — ни облаков, ни моря, ни звучности прекрасного слова «пролив», все это было на ходу, этот человек точно быстро ехал мимо своей собственной жизни, — «Астория», «Метрополь», Марика, — и все не мог остановиться. Его состояние все увеличивалось, деньги росли, как во сне, уже было много миллионов, банк, поместья, мельницы, подряды, и вдруг все сразу рухнуло и поплыло; и как ни быстро было его обогащение, разорение шло еще скорее. Стреляли пулеметы в Петербурге, на юге были восстания, война, пожары, революция; и все стало тихо, и все остановилось только в одно апрельское, блистательное утро на берегу

---

<sup>1</sup> Между прочим (*фр.*).

Босфора. И не осталось ничего: ни денег, ни забот, ни богатства, ни перспектив, ни необходимости быть тогда-то в Москве, а тогда-то в Киеве. «И тогда я начал понимать», — сказал он. Но в противоположность громадному большинству людей, находившихся в его положении, он не жалел о потерянном богатстве; ему было только обидно, что так незаметно и глупо прошла жизнь. Он вспоминал студенческие времена, и уже здесь, в Константинополе, он начал читать книги, — а книг он не читал очень много лет. Особенно его волновали стихи, и теперь этот старый человек, знавший всю жизнь «покупать», «продавать», «не пропустить», «баланс», «итог», спрашивал Володю, помнит ли он эти строки:

Слабеет жизни гул упорный,  
Уходит вспять прилив забот,  
И некий ветер сквозь бархат черный  
О жизни будущей поет.

Он спрашивал Володю, что тот собирается делать; и, узнав, что Володя уезжает в Париж, просил ему прислать оттуда «Madame Bovary». Володя обещал; но еще до его отъезда старик умер от припад-ка астмы — там, где он жил, в глубоком и низком Касим-паше. И Володя представил себе его смерть, поздним и душным константинопольским вечером, в маленьком деревянном доме, — и ночной Босфор со светлой водой, и астматические, задышающиеся всхлипывания его собеседника.

Он приехал тогда в Константинополь из Греции, — он ехал в бурную февральскую ночь на каботажном катере через Мраморное море; катер подбрасывали медленные волны, корма его высоко поднималась, и тогда освобожденный от воды винт вращался

в воздухе с глухим и тревожным шумом. Точно на сказочном корабле, на нем не было видно ни души, ничей голос не отдавал команды, только тьма и вода, как во сне, и холодное ночное море; он приехал в Константинополь утром, было ясно и прохладно, и синие Принцевы острова все точно плыли из светлой глубины Босфора и не могли доплыть до берегов. Его поразил запах жареного мяса, доносившийся из какого-то портового ресторана, крутые и высокие улицы Галаты и еще особенная константинопольская шарманка с необычайным количеством булькающих переливов мелодии, точно кто-то в такт музыке лил воду из большой бутылки. Поздним вечером того же дня, после душной, горячей ванны, одетый в новый и непривычный штатский костюм, — поздним вечером этого дня он пошел в ресторан «Printania» и сидел за столом в зале с танцующим над негритянским оркестром синим дымом от папирос и сигар, слушал звуки модного тогда фокстрота и был совершенно и беззвучно пьян, хотя не пил ничего; и находился в таком состоянии, когда странно меняются предметы — из большого барабана растет высокая пальма, вместо рояля течет река, и только глаза женщин остаются неизменными, как всегда. Было два часа ночи, когда он возвращался домой, темная тишина стояла на улицах, и вдруг до него донесся хрипловатый женский голос, говоривший по-французски с теми неторопливыми русскими интонациями, с какими говорили только в нашей медлительной России и с какими никогда не говорят французы. Володя находил вообще непонятную прелесть в голосе у женщин — может быть, потому, что они напоминали ему «королеву бриллиантов», Дину, блистательную Дину, появлению кото-

## СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ	
<i>Роман</i> .....	5
РАССКАЗЫ	
Гостиница грядущего .....	167
Повесть о трех неудачах .....	175
Шпион .....	195
Рассказы о свободном времени .....	202
Общество восьмерки пик .....	233
Товарищ Брак .....	250
Римляне .....	274
Дракон .....	283
Превращение .....	289
Мартын Расколинос .....	302
Гавайские гитары .....	329
Водяная тюрьма .....	349
Черные лебеди .....	376
Авантюрист .....	399
Биография .....	413
Пленник .....	420
Мэтр Рай .....	430
Фонари .....	452